САХАРНЫЙ ДОЛ

…И внял я неба содроганье,

И горний ангелов полёт…

А. С. Пушкин

1

Замедленно, с накатывающим холодом угасает сознание; и нет вдоха, длится единый выдох – долгий, удушливый, – и с высасывающим истечением его умаляется, странно умаляется тело, а затем вовсе исчезает в студёной тьме. И ни смятения, ни страха, ни боли – только сквозное зияние пустоты… Но вдруг – слепящая вспышка, резкий вскид куда-то, словно я с роковым опозданием вынырнул из тяжкой темени – и никак не могу надышаться. После долгого, выворотного выдоха мне бы надо жадно хватать воздух, но я не дышу – и при этом тих и лёгок. Вспышка, внезапно ослепившая меня, с молнийным треском лопается, её сиренево-серебристое свечение слабеет, истаивает, и сквозь озонистую зыбь проступает комната. Я узнаю её. Серые, в в голубоватых розах обои; застиранная тюль занавесок, облитая заоконным полусветом; запылённый тёмно-коричневый шкаф; у левого окна – приземистый письменный стол, занятый моими флакончиками и коробками из-под таблеток; у правого окна – телевизор, неопрятно застеленная кровать, а на ней… на ней…

Как? Этого не может быть! На замызганной голубой подушке, поверх коричневого сбившегося набок одеяла лежу я. Всё верно: моя комната, моя кровать и я. Но почему это воспринимается с высоты? Из-под потолка или чуть выше я вижусь в несвежем синем трико и мятой жёлтой рубашке, мои ноги напряжённо полусогнуты, а руки со скрюченными пальцами раскинуты и застыли в бессильной попытке оттолкнуться
от колючего одеяла, худая шея вытянута, голова запрокинута назад, волосы всклокочены, а глаза выпучены и подёрнуты пугающей мутью.

Я ниспадаю вплотную к себе, в жутковатой растерянности и жалости вижу мертвенную неподвижность тела, чувствую его убывающее тепло. Боже мой! Боже мой, и это – я?!

В необычной свистящей тишине вязко стучат часы; но странная, каменная неподвижность моего тела, этих стен в зябких обойных розах, статичность потёртого шкафа и нелепость лекарств замедляют биение времени – и часы не идут, но вхолостую толкутся и толкутся в простенке меж бледных окон. Каким-то сверхчувством я улавливаю: механический стрёкот замедляется, густеет, и от сумеречных часов – со стены на стылый стол, шкаф и постель – стекает нечто сернисто-жёлтое, полупрозрачное. Оно до краёв заполняет комнату, из студнеобразного становится стеклистым; однако я легко перемещаюсь в нём и то припадаю к себе, обласкивая холодеющее тело, то взмываю над ним, чтобы разом запечатлеть.

Но внезапно это прекращается. Некий безмолвный, властный, неодолимый зов влечёт – и я оставляю комнату. И я оказываюсь на грани тьмы и света: ничуть не смешиваясь, только искря на стыке, парят громады слепящего серебристо-холодного и густого чёрно-фиолетового. Моя бестелесность позволяет мгновенно ощутить гнусную затхлость одного и благоуханную сладость другого.

– Ты – мой!!! – внезапно оглушает меня скрежещущее. В тлетворной тьме что-то копошится, и вот уже видится огромное, искажённое ухмылкой лицо. Оно не безобразно – нет, скорее слащаво-правильно; но гнилостный иззелена-бурый цвет в аспидно-фиолетовой густоте, наркотически красные глаза, а главное – алчная и одновременно презрительная ухмылка превращают это отталкивающее лицо в личину.

– Ты – мой!!! Мой!!! – громоподобно хохочет она, и я беспомощно трепещу в грязных раскатах. – Ты ничтожен, ты растлен тайнопитием, многоспанием, леностью, празднословием, осуждением, гордостью и многия, многия, многия… Ты – мой!!! – всесотрясающий хохот ужасом сковывает весь мой состав.

– Эта душа – не твоя! – слышится негромкое, но легко перекрывающее хохот. Справа, из бездны света, как бы загораживая меня, проступает Ангел (я сразу узнаю его, хотя никогда не видел). Как точны Евангелия! Лик его действительно – как молния, одеяние – белее снега. –
Она – не твоя! – спокойно ответствует мой заступник. Необъятное успокоение нисходит на меня с первого звучания его голоса.

– Эта душа – моя! – возвышает Ангел речение. – Невоздержанностью грешна она, но превыше всего её почитание родителей, чадолюбие и сокрушение духовное…

– Моя!!! Моя!!! – злобно кривится личина.

– Сия душа – Господня! – обороняет Ангел.

А я в бессильном раскаянии и страхе трепещу над искрящимся стыком света и тьмы и слушаю роковые прения обо мне, равно готовый к падению и вознесению.

Обнадёживает голос Ангела: неспешно он приводит мои добрые помышления и дела с детства и до дня смертного – и немало их! Уязвляет злобное разоблачение лукавого: сладострастно злопыхает он о пороках юности и зрелости – и несть им числа!.. Но Ангел одерживает верх и приосеняет меня блистающим голубоватым крылом; а тьма с грохотом рушится куда-то, и я слышу кошмарные угрозы и проклятия. Ангел ещё плотнее обнимает, я перестаю трепетать – и становится светло, покойно и празднично, словно я зачарованно затих в весенней берёзовой роще, которая блистает пёстрой белизной на звонкой сини. И в великом умилении я не произношу – источаю всею сутью своею полузабытую бабушкину молитву: «Святый Ангел, приставленный к окаянной моей душе и к исполненной страстями жизни, не оставь меня грешного и не отступи от меня… укрепи слабую и худую мою руку и наставь на путь спасения...»

– Настали великие третины, – слышу я над собою. – Внимай самое заветное. Затем грядут воздушные мытарства и вечное успокоение.

Удлинённый пресветлый лик с лазоревыми очами приближается ко мне, и очистительное, словно бы родниковое, дуновение освежает меня.

Приосенённый ангельским крылом, я оказываюсь над родным Сахарным Долом, освещённым заревом пространного Нижнего Новгорода. Длинная улица в оранжево-золотистых берёзах тянется до леса, там сквозь плавную осеннюю дымку тихо выблёскивает озеро, его плотно обступает и расходится на три стороны света душистый пригородный лес, зыбистыми буро-багряными волнами он неспешно дотекает до новых микрорайонов, до недальних деревень и сжатых полей.

Среди уличной пестроты крыш легко различаю свою пего-черепичную и единым устремлением пронзаю её… Комната преобразилась. Белым занавешено шкафное зеркало, плотно укрыт телевизор, опущены занавески, и в тягучем электрическом свете на столе посреди комнаты лежу я – покойный, помолодевший, прибранный. Удивительная гармония! То же безмерное умиротворение окрыляет меня бестелесного; в охранительной близости Ангела я почти счастлив, и если бы не скорбный привкус моего освобождения, не чувство оторванности от близких, неземному счастью моему не было бы конца.

Трагичная отъединённость от родных очевидна! Я отпадаю от студёного лба, от крутых скул трупа, приподнимаюсь над закосневшей горкой грудной клетки, облачённой в неношеный синий пиджак, и ободряюще обволакиваю чёрный силуэт тёти Нюры, присутствующей подле, сгорбленную фигуру жены, склонённую надо мной лежащим, напряжённо прямой корпус сына и сутулого, прислонённого к дверному косяку двоюродного брата. Я изливаюсь на них никогда неиспытанной нежностью, но, судя по всему, они не ощущают этого: жена всё так же всхлипывает в мокрый носовой платок, тётя Нюра, качая головой, строго поджимает губы, сын не мигая смотрит на мой заострившийся нос, а двоюродный Николай недоумённо скребёт богатырской пятернёй шелестящую щетину щёк. И ни отклика тебе, ни встречного взгляда!

Я растерянно смотрю в пресветлый лик моего охранителя, но он спокоен, и только возвышенная улыбка, словно живительное солнце, играет на Ангельском лике.

Время встало. Недвижимый электросвет стал янтарным от застойного жёлтого хроноса; однако я с поразительной чёткостью различаю и лежащее тело, и собравшихся вокруг него. Все присутствующие, все входящие в комнату резко проступают на янтарном, при том в груди каждого пульсирует свечение различного накала и оттенка – от фосфорически голубого до приглушённо розового. Я тоже ощущаю себя свечением; значит, в своих близких и соседях по Сахарному Долу я воспринимаю души. Отчего же они не ответствуют? Отчего глухи к моей ласке? Только ли оттого, что наглухо заключены во плоть?..

Но вот в комнате происходит некое движение – будто бы кого-то или чего-то главного недоставало, а все скорбящие и сочувствующие долго ожидали его, и вот оно то ли приближалось к дому, то ли уже находилось в нём. Это было заметно хотя бы по тому, как оживилась, заоглядывалась на дверь тётя Нюра, как распрямилась и перестала всхлипывать жена, как отлепился от дверного косяка всё ещё растерянный Николай. Именно он первым и нарушил тягостное молчание:

– Ну наконец-то! Куда ты, Ивановна, запропастилась?

– В храме была, милый, за упокой свечи поставила, – уже из коридора послышалось окающее, родное, сахарнодольское.

И вот в комнату вошла Мария Ивановна Швейцарова, невысокого росточка старушка в чёрном платке и траурной плисовой поддёвке – известная в Сахарном Долу молитвенница и наша дальняя родственница. Перекрестившись и трижды сотворив поклоны, она укоризненно заметила:

– Господи, грех-то какой! Что же вы не читаете над покойником? Мается сиротка-душа… – и было заметно, что при словах этих её захлестнуло лазоревое сияние, и разом привспыхнули изнутри все, кто был при мне.

Мария Ивановна решительно села у меня в головах, поправила свечку, которая теплилась в моих сложенных ладонях, затем перекрестилась, раскрыла принесённую Псалтирь с жёлтыми подслеповатыми страницами и начала просветлённо: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь…»

С первых высоких слов всё преобразилось. От стиха к стиху хрипловатый старушечий голос очищался и как бы возрастал, тембр его становился выше, молодея от библейских восхвалений. Очищались и осветлялись лица моих близких и соседей. Старушки, вошедшие вслед за Марией Ивановной, слаженно крестились на иконы и пяток свечей, кем-то поставленных в красный угол и на телевизор. Жена не плакала, со скорбным достоинством вглядывалась в моё белое лицо. Растроганная тётя Нюра тихо лила слёзы, положив ладонь на мою неподвижную грудь. А сын медленно поднялся со стула и, подойдя к Николаю, уткнулся в его старый, сталистого оттенка свитер, невыводимо пахнущий бензином.

Всё это я подметил мгновенно. Так же как и видимую перемену в себе лежащем. Чистое, без прижизненной землистости лицо белело гладким воском, все его черты прояснились; с осенённой свечами высоты я видел: неузнаваемое лицо улыбалось… Вероятно, улыбался и я; праздничный Ангел умиленно смотрел на меня, помавая прозрачными крылами над покойным и всеми скорбящими и сочувствующими…

А возвышенный голос чтицы от псалма к псалму укреплялся, в нём не слышалось ни йоты старческого – это был уже сильный молодой голос, легко пронизывающий комнату, возлетающий над домом, над туманной улицей Сахарного Дола и над листопадным лесом; слова священных стихов неслись эхом над сахарнодольскими окрестностями, широко отдаваясь в светлых осенних небесах.

И я забывал о страшной искупительной тьме, о злобном лукавом; я свыкался с посмертной действительностью, оказывается, нисколь не ущербной, напротив – многоцветной и многосмысленной. И когда летучее естество моё, словно могучим солнцем, было пронзено Словами о вседневном человеке, тогда всё и вся осветилось неотмирным светом.

Великими волнами разносилось меж окоёмов: «Когда взираю я на небеса Твои – дело Твоих перстов, на луну и звёзды, которые Ты поставил, то что есть человек?.. Не много Ты умалил его перед Ангелами: славою и честию увенчал его; поставил его владыкою над делами рук Твоих; всё положил под ноги его: овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских… Господи, Боже наш! Как величественно имя Твоё по всей земле!..»

Конечно, не до широты планеты, и всё же разительно распахнулись мои окоёмы. По сравнению с первоначальным бытованием, открылось иное видение: если в том временном, что называется «до смерти», всё воспринималось нервно, в суетном мельтешении, то теперь, когда с мира спала бренная пелена, он предстал высокозначимым и нетленным.

В широких отголосках Псалтири благодатно виделись не только родной угол с Сахарным Долом и лесным массивом, но и весь огромный город с туманным заречьем; его многотрубные всхолмия и низины, словно умягчающим покровом, скрадывала всё та же стеклистая желть замедленного времени, сквозь которую то и дело поднимались в литую надоблачную синь огненные существа, подобные мне. Я уже знал: это души перерождённых для вневременного бытования; и каждую сопровождал Ангел-хранитель, и каждой суждены прощальные третины, а затем воздушные мытарства, которые испытывают нас на духовную светоносность.

Ни моя жалкая полувера, ни беспомощная мирская «осведомлённость» не подготовили к этой посмертной реальности. Все мои страсти и страдания, все мои озарения и торопливые радости только отвращали от неминуемого перерождения, затемняли раздумья о нём; и даже в часы заброшенности желанная смерть виделась отпадением в чёрное Ничто. Я с повинным сожалением вспоминаю теперь свою снисходительную усмешку над бабушкиными рассказами о Страшном суде, о Господнем разделении всех на праведников и грешников, о наказании последних негасимым адским огнём. Каким наивным это казалось! А ведь только наивное бывает провидческим.

– Истина истин, – ободряет Ангел. – Никто не умирает, но пребудет вовек. После мытарств воздушных узришь усопших предков, матерь и отца твоего. А ныне испроси прощения у близких, запечатлей в памяти твоей самозаветное.

Как ни окрыляет безмерное, а всё-таки одна мысль о том, что всё земное после трёх здешних дней я оставлю навсегда, повергала в щемящую ностальгию. Что здесь самое дорогое? Да всё без изъятия! Теперь, когда оборвалось моё полубеспамятное постельное прозябание, которым я поневоле сжигал последние месяцы всё распахнутое с очистительной высоты – единственное и невосполнимое. Конечно, более всего саднит утрата близких, – но ведь она не бесповоротна? Ведь когда-то и они очутятся по сию сторону будней, и мы неминуемо воссоединимся. Боже мой, значит это – расставание до встречи? А как же Сахарный Дол – эти голубооконные дома, этот черёмухово-берёзовый порядок, нисходящий к лесу, родное озеро и милые древесные укромья? Увижу ли после мытарств эти в золотистой стерне поля, порассыпанные средь них деревни, где приводилось бывать? А что станет с неизвестными градами и весями, со всей Россией? Неужели не судьба увидеть иные земли и города? Не может быть, не может…

«Жертва Богу – дух сокрушенный», – внушительно звучит окрест, блистающеликий Ангел утвердительно глядит на меня и мягко и неколебимо направляет вдоль покатого, тонущего в золоте и дымке порядка. Минуя родной дом и усыхающий огород с иззелена-голубой капустой, в голенастом малиннике я замечаю своего кобелька Кубика. Коротколапый и толстенький, с лопоухой озорной мордашкой, короткошерстый увалень рыжей масти, он действительно походит на кубик. Помнится, я и окрестил-то его шутя, на обоюдную с ним потеху, и вся улица подняла меня на смех. Зато от злобных цепных Рексов и Цыган моя псинка отличалась младенческим незлобием и бесшабашностью. Вот и сейчас, нимало не скорбя о хозяине (он ведь чует: я – жив), Кубик копошится в шумной листве, норовя поймать зубами свой куцый хвостик. Ах, озорник! Он азартно рычит, почти тявкает, и вёртким пыльным клубком выкатывается на оголённую грядку и возится, возится, высвечивая нежнопухим животиком. Мы невольно зависаем над ним, беспечно потешаемся; растроганный, я даже пытаюсь щекотать перепачканную землёй шкурку, но моя светящаяся бесплотность всего лишь обволакивает собачонку. Прощай и будь благословен, милый Кубик, тепла и покоя тебе на кратком веку!

Мы отвлекаемся и скользим вдоль порядка над цветастыми ребристыми кровлями домов, сараев, бань, клетей и кладовок; они то разделены, то осенены поредевшими кронами берёз и черёмух, яблонь и вишен; а внизу во всю незатенённую ширь чёткими земляными прямо-
угольниками проплывают убранные грядки и вскопанные картофельные усады с частыми пепельно-пегими костровищами и бурыми кучками ботвы; среди разогретой охры земли там и сям бугристыми заплатами голубеет капуста да ещё среди тронутой тленом листвы заблещет червонным золотом наша знатная антоновка.

Но вот сады заканчиваются, и за пёстрой сахарнодольской околицей, буйно заросшей лопухом и крапивой, сперва непролазным черёмушником, пестрящим ядристыми гроздьями, а потом раскидистой лещиной, переходящей в зыбистый осинник, утверждается лес.

Земные полвека помню себя – и почти всегда среди него или рядом. С малолетства все мальчишьи «войны» и прорезающие сумрак костры, азартные прятки и рисковые надовражные «гигантские шаги» нераздельны с лесом. А поголовная земляничная, ореховая да грибная страда? Не под его ли укрывистой сенью происходили потайные отроческие празднования и первоначальные любовные открытия?..

Мой лес тих и светел, по-августовски горячее солнце наискось красит листопадно-грибные глубины, в гулкой бесптичьей тиши под ветерками бумажно шелестит перезрелая листва и, взблескивая, упадает на вялые травы; почти гол осинник, просторен и высок липняк, а в поднебесном березняке, изысканно испещрённом чернью и перламутром, хочется раствориться – так звонка его стволистая белизна, чиста синь и затейлив свет. Этой затейливости добавляет озеро, блистающее меж стволов. Закончены бесконечные купания с детским криком и визгом, озёрные воды успокоенно прозрачны; темны и затаённы осокистые прибрежья, рябовата от текучих выблесков середина; молчат умиротворённые лягушки, не колобродят рыбы и только неугомонные стрекозы на радостях от затяжного тепла носятся над водой, мелькая радужными крылышками…

Сколько солнечного жара и водяной прохлады впитало моё тело! Они бесценны оттого, что я дважды тонул и по счастливой случайности меня спасал двоюродный Николай… Но о чём я?! Конечно, это Ангел руками расторопного братана продлевал моё бытование.

Кто же действовал через жену? Ведь почти двадцать лет она помогала мне жить, а потом исподволь умертвила. «От тайных моих очисти меня и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною...»

То, что Ольга тайно освобождается от меня, я понял не сразу. В чаду моих затяжных выпадений из реальности, в похмельные просветы всё реже и реже она бранилась, уже почти не упрекала, больше отстранённо молчала, замкнувшись в своих горестях. К тому времени открылась беда с нашим сыном – Ольгиной тревоге за Алексея я и приписывал заметные перемены. Откровенно сказать, известие о сыновней наркозависимости крепко садануло и по мне, так что изношенная нутряная «машинка» всё чаще сбивалась, стискивая грудь железной болью…

Мысли о жене и сыне заставили отвлечься от любимого леса. Я прощально просквозил над тихими водами, сквозь которые хорошо виделись длинно вьющиеся водоросли и стайки чёрноспинных мальков; затем легко проскользил берёзовой рощицей, исходившей замедленным лиственным дождём; потом миновал багряный черёмушник и взмыл над Сахарным Долом.

В моей комнате стало тесно: как у нас водится, посмотреть на покойного приходили и приходили земляки. Молча они протискивались, заглядывали поверх плеч и голов, застывали с выражением почтительного сочувствия и жалости. Хотя окна были отворены и поверху гулял сквозняк, всё равно была непродыхаемая духота (я судил об этом по распаренным лицам). По-прежнему величественно звучала Псалтирь –
настоль внушительно и надмирно, что легко заглушала мою жену, которая ритуально убивалась, упав на гроб.

Будь я во плоти, меня бы пробила дрожь: ведь я никогда не мог сносить заупокойных женских причитаний; и сейчас бы они изъязвили душу, если б причитала не моя жена. Конечно, жаль её, но предсмертное знание охлаждало, и в отличие от присутствующих я воспринимал прилюдные терзания как добросовестную дань народной традиции.

Но самое главное – о чём она причитает? Ведь я рядом, здесь и сию минуту! Смотрите: вот я изливаюсь на её вздрагивающую спину, нежно обтекаю, обволакиваю всё её тело и кричу – слышите, кричу!!! – о том, что жив.

Возможно, неясное предчувствие моего теперешнего состояния ещё «при жизни» подвигло меня смириться с Ольгиной изменой и спокойно принимать из её рук странные усыпляющие, исподволь гасящие таблетки. Сутками прозябал я в полусонно-бредовом тумане, то и дело выпадая из сумеречного сознания, и наконец изнурительно задохнулся, чтобы возродиться навсегда.

«И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом…» –
будто проясняют прошлое высоко звучащие псалмы. Какова была жажда моя? При жизни я и сам не мог понять этого; да, меня парализовала необъяснимая хандра, неколебимое равнодушие ко всему. Синдром непреодолимой усталости – так, кажется, называют новомодную хворь, будь она неладна. За что она окатила меня сквозным холодом? Какое-то время помогало винопитие – лихо разбивал оковы всесокрушающий хмель; ни тупиковые раздоры с женой, ни отстранённость сына под алкогольным наркозом уже не волновали, но подталкивали к самозащите, понуждая пить вопреки: раз жизнь так немилосердна ко мне, я буду к ней втрое немилосердней!

В этой противоестественной тяжбе я побеждён. Как часто в бессонные ночи я содрогался от неизбежного поражения, и становилось ещё горше от безысходности. «Господи, спаси и сохрани!» – в беспомощной полувере шептал я, вспоминая покойных бабушку и мать. Тётя Нюра, заменившая их, выбилась из сил: как ни старалась, уже не могла свернуть меня с питейного пути и приходила только затем, чтобы развести руками и скорбно покачать головой: «Покойная Анна в гробу переворачивается из-за тебя непутёвого!» А я потерянно смотрел в её смуглое, морщинистое лицо с мокрыми глазами, чаще всего молчал, но иногда в кураже отговаривался:

– Ничего, живы будем – не помрём…

И оказался прав. Расхожая фраза заключает «двойное дно»: в самом деле, будем живы – никогда не умрём, даже если тело истлеет. Как свободно с этой непреложностью! Но отчего же в бескрылом быту так далеко до неё?

«Подлинно, совершенная суета – всякий человек живущий. Подлинно, человек ходит подобно призраку, напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то», – отвечает моим сомнениям Псалтирь. С нездешним вниманием вслушиваюсь в её речения, и непомерная жалость полнит обновлённое естество. Иными, неповинно страдательными, видятся все, кто в комнате: и я, обречённый на тление покойник, и прилежно убивающаяся жена, и плаксиво отзывчивые женщины, и построжевшие мужчины. Я всех знаю – и никто неведом мне, всё понимаю – и великая тайна покрывает происходящее.

Почему я ушёл из их жизни? Зачем унёс с собой так много недосказанного? Отчего тяготит некая вина перед ними и перед собой?

Единственное, что утешает, – мой тихий, смиренный уход. Можно было бы напоследок от души садануть дверью – было такое желание, и к этому почти склонил братан Николай. Как-то вечером в поисках денег я позорно рылся в жениной сумочке и что-то меня толкнуло – я решил посмотреть на последние эсэмэски, по легкомыслию или неосторожности оставленные женой в мобильнике. В похмельном рассеянии глянул на тексты сообщений – и сразу протрезвел: там смаковались постельные подробности! Так и есть: то, о чём я подозревал, случилось – Ольга уже с полгода спала с каким-то приезжим В. (именно эту букву ставил тот мужлан в конце своих писулек). … В бешенстве я уже собирался разбить телефон, но меня пронзила неожиданная фраза: «Я понимаю, что тебе жалко твоего алкаша, но зачем губить свою жизнь?» А дальше этот В. всё настойчивее внушал Ольге высказанную мысль, подкрепляя её не только житейскими доводами, но и заманчивыми посулами: «О сыне не беспокойся – у меня есть друг нарколог, он поможет. Плюнь ты на этот дом, моя квартира станет твоей и заживём, как сыр в масле!» Больше всего покоробили эти «сыр в масле»: какую же роль готовил Ольге пошляк В. – наверное, умягчающего «масла»?!

Что делать? Набить ей морду? Или победно ткнуть носом в прочитанное?.. Помнится, в те «расстрельные» минуты и зашёл Николай.

– Держи кардан! – как всегда протянул грязную ручищу. – Ну как, из штопора не вышел? Выходи с полным промывом втулок! – и коротко чокнул о стол «Арзамасской».

В то время он был для меня выходцем из несокрушимо ясного мира. Николаев дом был почти полная чаша, и если что-то не ладилось в автохозяйстве, выручали надёжные калымы (и я в краткую бытность «бизнесменом» не раз привлекал его). Да и внешне братан был несокрушим: крепкий и кряжистый, краснолицый почти банного каления и при том забавно белобров и белобрыс. Что бы ни случилось, на людях Николай Пичугин выступал неизменным балагуром и подковырщиком, хотя я знавал его и другим – уморительно сентиментальным и ласковым, особенно в пору его жениховства, когда он мучительно долго обхаживал Клавдию Цыбину.

– Ну так заправимся, что ли? – вывел меня он из ревнивого оцепенения.

Конечно, заправились, и слово за слово (известно, что у трезвого на уме…) он выведал моё горькое открытие.

– Выгони к едрене фене! – рубанул кулаком Николай. – Если б моя Клавка хвостом вильнула, я бы ей все шины спустил! Я бы ей, курве, мотор с карбюратором разобрал!..

Постучал кулаком, гневно посверкал зелёными глазами, поматерился, ободряюще облапал меня и пошёл что-то по-хозяйски доделывать… Хм, в самом деле, попробовала бы его Клава! Так ведь не попробует, и не из страха – от полного довольства жизнью. А у меня?..

Сумрак над Cахарным Долом. Густо пали на него туманы, почти сполна укрыты ими спящие дома и усады. С ядрёными храпами и присвистами, а то и младенчески тихо почивают усталые шабры – слава богу, отходит от них ещё один головоломный день, полный крикливой политики, грошовых трудов и неустранимых забот. Ни звука, ни дуновения, ни огонька. До зорьки угомонились поселковые бурёнки и сынки, оцепенели на укромных насестах куры, перестали чавкать и возиться визгливые свиньи, не топочут по клетям ненасытные козы.

Спит вся живность. И только в моём доме не гаснут окна – в невозвратную дорогу сряжают здесь человека, по незапамятному обычаю причащают усталого ходока в мир иной. С неколебимым вниманием слушают священную Псалтирь, по очереди читаемую полусонными старушками. Не раздеваясь, прикорнула на моей кровати многозаботливая Мария Ивановна; зажигает новые свечи и поправляет зыбкий огонёк лампадки молчаливая тётя Нюра; поблескивая очками, замедленно переворачивает древние страницы Надежда Михайловна, тётка моей жены.

Распахнутое панорамное зрение непомерно расширяет меня: странным образом я воспринимаю всех находящихся в доме, весь туманный Cахарный Дол, а поверх дрёмного леса – и всю фиолетовую чернь города и бездонную высь над ним, мерцающая звёздность которой легко перетекает в городскую огнистость. Я – не на земле и не на небе; вольная, но и тревожная неотмирность полнит меня, и, если бы не блистающий Ангел, чей обволакивающий свет отъединяет от вопрошающей бездны, мне б ни за что не снести уязвимости моего положения.

«В день скорби моей ищу Господа; рука моя простёрта ночью и не опускается; душа моя отказывается от утешения», – стократным эхом разносится в ночной тверди. Ничего не убавить и не прибавить к извечным словам, в которых вся беззащитность моя и неутолимые упования. Скудна земная ноша, с которой вскоре ступлю на стезю воздушных мытарств; Бог весть, не окажутся ли тщетными мои слабые доводы перед Всевышним? А покамест уготовано расставание с самыми дорогими и близкими…

Вот они – за стеной, в тихой, тёмной комнатке, словно закупоренной от скорбной неизбежности: наглухо зашторено единственное окно, плотно прикрыта дверь, занавешено зеркало. Но ни стены, ни застывшее время не останавливают меня: один сквозной нырок – и я в недвижной духоте. Ольга лежит на тахте, Алексей – рядом на раскладушке; в жениных головах, на спинке кровати, висит её чёрное платье, серая вязаная кофта и траурная косынка, отдающие сладковатым свечным чадом, лампадным маслом и тягуче-кисловатым душком ожидающей погребения плоти.

Я так ярок, что опасаюсь разбудить спящих, но вижу: Ольга лежит с открытыми глазами, они влажно высвечивают в темноте. Всею бестелесностью я опускаюсь на неё и, может быть, впервые за многие земные месяцы с безнадёжным желанием чую ладную крепь её тела, сулящего теплоту и утешность. Как скудно, как тупо я прозябал рядом со страдающим другом! Забыть ли тот немо кричащий взгляд, с каким Ольга обернулась на пороге, уходя «навестить сына в больнице»? После злополучных эсэмэсок я и верил и нет, однако махнул рукой – чему быть, того не миновать! Помнится, всё тогда лишилось смысла, будто оголилось, и жалкая нагота пустопорожних будней вконец отвратила. Неведомая, неодолимая сила стремила моё пассивное естество, но не в высоту, а в нечто низкое, расплывчато-серое, зловонное. Господи, неужели это был рубеж, после которого лишаются грешной плоти? Значит, это возмездие за мою разгульную жизнь.

Каких только дел и занятий я ни перебрал, каких кратких вознесений и долгих падений ни претерпел, как долго меж тюрьмой и сумой ни балансировал, – а не чувствую насыщения и повинно зависаю, уже чужой и потусторонний, над своей разбитой вдовой.

Неужели и ты, моя запоздалая любовь, обманула? Или же я по малости и слепоте своей не был достоин твоего спасительного крыла? Кратким оказался медовый просвет, – но зачат и рождён сын, худо-бедно укоренена семья; но какие плоды принесены ею? За что это нам, Оленька?!

Удивительно! До того слабое внутреннее свечение её растёт, перекатываясь волнами. Ольга приподнимается на локтях, округлёнными глазами смотрит на меня и в испуге шепчет что-то. «Господи… грехи мои… вовеки…» – различаю я. Её слабый, прерывистый шёпот не заглушён, но мягко оттенён исполински длящимися псалмами: «Да живу я вечно в жилище Твоём и покоюсь под покровом крыл Твоих, ибо Ты, Боже, услышал обеты мои».

Скрипит раскладушка, долговязый встрёпанный Алексей, опираясь на тощие руки, приподнимается с простыни и садится.

– Ты чего, мам? – недоумевающе спрашивает он, таращась на её белую выгнувшуюся фигуру.

– Да так, ничего, сынок, показалось. Нервы… – отвечает она и бессильно падает на холодную постель. – А ты отдохни. Впереди у нас трудные дни.

«Да-да, сынок, очень трудные!» – всем естеством вторю я и, отлепившись от жены, пытаюсь нежно уложить Алексея; но его худое, с выпирающими ключицами тело не поддаётся и сын сидит, замедленно пульсируя неярким внутренним светом. Я обтекаю его угловатый торс в свисающей футболке и вглядываюсь в повзрослевшее лицо. Всё те же густые, враздёрг, непокорные волосы да оттопыренные уши, а глаза – диковато голодны, черты остры. Алексей сидит, прислушиваясь к тому, что происходит за стеной. Что он слышит? Наверное, тихое пошаркивание старушечьих шагов, поскрипывание половиц да монотонный голос чтицы.

Ах, сынок, сынок! Не там, а здесь происходит главное – в этой душной комнате. Если ты не видишь меня, так хотя бы чувствуешь? Пожалуйста, постарайся уловить мою запоздалую теплоту. В твоей душе трепещет последний побег нашего полурассеянного рода. Поверь, я пытался не растерять строгого наследия предков: в юности пахал, сенокосил, учился, перепробовал десяток профессий и, помнишь, даже хотел стать художником; а когда произошёл российский слом, не растерялся и рискнул заняться бизнесом; и не моя вина, что предала и пустила по миру заевшаяся «крыша»… Будь снисходителен, не вини – ради Бога, пойми! Если б ты знал, как тревожно за тебя: десятый класс – это самое начало жизни, но не конец, и чудовищно несправедливо, что тебя так рано и опасно опалила тлетворная изнанка мира…

Будто прислушиваясь, Алексей медленно ложится и, закинув руки за голову, смотрит в сумеречный потолок. Дорого бы я дал за то, чтобы на его смутном фоне проступило моё истекающее нежностью эфирное естество.

Только перед рассветом они уснули, но занялся день – и продолжились приготовления к похоронам. По распоряжению тёти Нюры Николай заколол поросёнка и с зятем разделывает его, полпорядка затопив палятиной; Алексей с Витькой уехали за вином; соседки припасают продукты, благо осень оказалась урожайной. И только я – невольный виновник всех хлопот и волнений – праздно лежу в смолистом гробу. И мне, парящему над всем, неловко перед сахарнодольцами за то, что отрываю от насущных забот. Но пресветлый Ангел утешает:

– Что насущнее встречи со Всемогущим? Всё суетное меркнет…

И я смиряюсь, с прощальной пристальностью запоминаю тихую, заплаканную, слегка сутулящуюся жену в чёрном; скорбно волевую тётю Нюру, что сидит рядом с Ольгой, и в отличие от неё – твёрдо и прямо. С удивлением я вглядываюсь в маленькую Марию Ивановну, в её морщинистое, словно испечённое личико: как исторгается из этого тщедушного тельца такой звучный голос, свободно заполняющий окрестности?

А над Cахарным Долом, словно творя хвалу великому бытию, широко золотеет звонкий осенний день. Гармонично сливает он воедино звуки земные и небесные: шелест листвы, голоса людей, пение петухов, лай, блеяние, мычание, высокий гогот улетающих гусей, реактивный гром самолётов и другие близкие и дальние гулы, эхом исходящие от тверди небесной и земной. Нездешним зрением вижу я дольнее милое копошение и величавую замедленность тающих в сини облаков, выше летучей белизны родниковая синь плавно перетекает в звёздную чернь… О как трудно зависать на этой грани! Господи, теперь вся земля для меня – Cахарный Дол. Я теряю из виду крошечный, упрятанный в лесной зыби посёлок и лишь крылатым дуновением Ангела низлетаю к душистой земле. Вскоре меня здесь не будет – не первый я и не последний. Где мои родители, деды и прадеды? В каких неведомых пределах мы встретимся? О чём истинном, всеосветляющем они поведают?..

Полурастворены в осенней дымке округлые окоёмы, ещё большей размытости добавляет цепенеющее над землёй время. И только через большое усилие с духоподъёмной высоты различаешь мало-мальское движение; только неясный, отдалённый гул слышен с распростёртой земли – словно некий исполинский прибой накатывает на цепенеющую планету, плотно, до распоследней клетки, обволакивает и через здешнее, условно отмеченное столетие медлительно отступает. Накатывает, рождая миллионы младенцев; отступает, увлекая сонмы уходящих в вечность. И так ныне, присно и во веки веков: накат вселенской волны –
детство, отрочество, зрелость и старость; откат – внуки, дети, отцы, деды и прадеды… А вокруг, везде и всюду – единый необъятный океан, и в нём – тьмы и тьмы прошлых, настоящих и грядущих жизней.

«Когда изберу время, Я произведу суд по правде. Колеблется земля и все живущие на ней: Я утвержу столпы её» – слышится на кромке прибоя. И живительная покорность оттесняет страх и желанно неизбежное.

Наконец-то я свободно созерцаю! В прошлой жизни, в её громкой, безостановочной толчее я постоянно спешил, что-то намечал, переиначивал и предпринимал; среди ослепляющей гонки отступала величавая красота, чуждая сиюминутной пользы. Но вихрь мира сего захватывал, убыстряясь и убыстряясь, – и ни продыха, ни паузы, ни отдохновения. Ну как не сломаться душе загнанной, но помнящей о том, что она не тяжеловоз, а трепетная лань?! И вот сброшен непосильный гнёт, пресеклось обманное время, и словно мелкий сор в янтаре, навек погребены в нём твои ложные устремления, замыслы и денежные дела. Всё, что суждено, исполнено; всё – в дорожной суме, огляди напоследок курень твой родной – и в последнюю путь-дорогу.

Для первой версты её всё готово. К дверям дома давно прислонена красная гробовая крышка, на ней – моя фотография, где я вызывающе улыбаюсь – ослепительно молодой, уверенный, гордый. Вполне обжился я в новой домовине: тесновато в её сосновых стенах, зато они сколочены в аккурат по росту; и ничуть не жестка шёлковая подушка, набитая соломой. Вот и лежу сосредоточенно – строгий, абсолютно тверезый, без вина и жизни; и скорбно молчат надо мною близкие и дальние: что сказано, то сказано, а что опоздано – не догонишь.

Бело лицо жены – сошёл ядрёный румянец, почти почернели карие глаза в голубоватых припухлостях; резко прочеркнулась меж бровей поперечинка морщины и трепещет в пышной чёлке, выпроставшейся из-под косынки, тонкая серебристая сединка. Рядом с Ольгиной бледностью землистая смуглота тёти Нюры видится ещё сочней; наша родовая иконописность в её удлинённом лице доведена до строгого совершенства: под высокими надбровиями обочь тонкого носа и крутых скул – крупные, навыкате, глаза нестерпимо бьют голубизной. Вяла и недоразвита эта иконность в облике сына: смягчена она юношеской округлостью, да и мутны глаза (я видел, как, закупив вина, он воровато принял зелье). Зато непривычно тих Николай, и никак нейдёт затяжная печаль к богатырскому накалу его щекастого лица…

Битком набита комната; наверное, не продохнуть в застойном духе свечного дымка, нафталина, запаха покойника и пота. Но обряд есть обряд, и что значат здешние временные неудобства в сравнении с таинством ухода? Можно ли привыкнуть к смертям? В Cахарном Долу не привыкают. Так же как и к свадьбам. Только погребения да венчания собирают десятки участников и заинтересованных зрителей; и там и там – неподдельный душевный накал. Правда, в свадебном гулянии он выплёскивается «сплеча»; погребение – действо печальное, но зато на поминках (знай русскую душу!) печалятся почти до песняка, ненарочною пьянкою смерть поправ. Так было при дедах и отцах, так будет и после нас. Да и великий ли грех, Господи, когда уработанный, вконец замордованный русич пропустит лишнюю чарку за упокой души надорванной в трудах Марьи или сломавшего неразгибной хребет Ивана? Господи, не осуди моих шабров, когда они поднимут стаканы за усопшего земляка-выпивоху! Ведь соблаговолил же Ты к нашим могильщикам Ваське Овсову и Яшке Рябинину, когда они, копая моё последнее пристанище, то и дело прикладывались к посудине, да так и пали подле могилы, пока их крикливые половины то волоком, то пинками не разогнали по домам.

Вот и зияет, как изголодавшийся земляной рот, свежая ямина на укромном кладбище по-за лесом. Скоро, совсем скоро поглотит она меня и не поперхнётся – от века не бывало такого в Cахарном Долу, да поди и на всей земле – ведь известно, что она наряду с адом воистину ненасытна.

«Господи, Боже сил! Восстанови нас; да воссияет лице Твое, и спасёмся!»

Уже звучит заупокойная панихида, и от тесного дыхания певчих тревожно дрожат свечные огни. Тонкими слитными голосами, в которых скорбная правота и покорность, старушки поют псалмы и канон. Многие женщины плачут; будь я во плоти, тоже не выдержал бы, но теперь, в самую великую земную минуту, я трепетно воспарён и собран. Торжественно тих и мой Ангел, скорбно склонена его золотоволосая голова, сомкнуты очи, молитвенно сложены ладони; легко пронизывая потолок, невесомо вознесён он над молящимися и покойным; и хотя уста его молчат, но чутким внутренним слухом улавливаю: «Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас!..» И словно могучий небесный Бах упруго вплетает его моление в звуки, льющиеся из комнаты; и единая, стократно усиленная песнь возносится ввысь, минуя плоские осенние облака, литую синеву над ними, и стремительно светлым лучом теряется в звёздной тьме…

«За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Моё. Воззовёт ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение Моё».

Окончена панихида. Я готов. Охладелый лоб мой опоясан молитвенным венчиком; в восковой правой ладони – разрешительная грамота с иконой Николая Угодника; в ногах – узелок с отпетой погребальной землёй: всё, что потребно для подземного успения, для исхождения из персти в персть.

В комнате началось движение. Николай с сыном Виктором, Василий Овсов и Яков Рябинин берут домовину и осторожно выносят меня на улицу. Перед домом – тьма земляков, их молчаливая толпа медленно расступается, и на выжженной лужайке на припасённые табуретки ставят гроб.

Празднично светит солнце, под тёплым ветерком взблескивают берёзы и легко осыпают ласковой листвой такую неуместную в золотой день процессию. Пронзительно, на грани истерики, причитает жена и едва не падает на гроб. Её подхватывают под руки тётя Нюра и Алексей и уже не выпускают, когда людской поток, увлекаемый красной крышкой и плывущей на белых полотнах домовиной, движется под уклон к лесу. Розовато пылит дорога, умягчая тысяченогую поступь; в стороны от толпы с кудахтаньем разбегаются куры, по дворам мечутся собаки, но молчат, узнавая проходящих.

А процессия, по нашему обычаю, приостанавливается у каждого дома, и носильщики распрямляются. И мне хватает этой паузы, чтобы проститься с дядей Васей, тёткой Лампеей, Павлиной, Степанидой, Евдокией, Калистратом… И ещё долго они кланяются вослед удаляющимся и мне, уходящему навсегда.

2

И мы уходим, уходим! Блистающий Ангел увлекает меня куда-то, я с радостной покорностью повинуюсь, плавно возлетая и всё же оглядываясь на покидаемый Cахарный Дол, на родимые окрестности, которые всё удаляются и удаляются, становясь мельче и неотчётливей. Там, далеко внизу, в последнее мгновение высверкивает лесное озеро и гаснет; я не вижу земли, только некое сияние – не солнечное, а самосветящееся, равномерно разлитое в неоглядье…

«Лоно Авраамово», – слышу утешительное ангельское, и вскоре сквозь голубоватое сияние начинают проступать невиданные древесные купы, густо цветущие кустарники, переливчатые воды. По мере нашего скольжения они становятся подробнее: листва дерев не зелёная – с серебристым, а то и с золотым отливом, неземные кусты обильно облиты крупными цветами самых радужных оттенков, воды чудесно чисты и обильны невиданными рыбами; воздух, а скорее всего эфир, помимо немеркнущего сияния тонко напоён какими-то неведомыми сладостными ароматами – то ли пронзительным озоном, то ли пьянящим мёдом и при этом уютно полон прелестными птичьими песнопениями.

Нет, это вовсе не земные голоса! Это не зяблики, пеночки, мухоловки и даже не соловьи – это какие-то иные, во сто крат звонче и нездешнее. Ведь ещё недавно я отделился от земного лона и по мановению Ангела-спасителя очутился в незнаемом пределе, где всё иное, невиданное и властно влекущее, источающее безмерный покой, где ни сует, ни скорбных воздыханий. Я стремительно осваиваюсь, будто испокон вековал среди обильных растений, прекрасных птиц, упоительное пение которых не заглушает, а словно оттеняет неумолкаемое высокое молитвословие; оно слышится отовсюду, как благотворный фон для тех, кто обитает в лоне Авраамовом. Я вижу этих существ повсеместно; так же, как и я, они вне плоти, все в белых одеяниях и удивительно походят на людей. Да, скорее это люди: я вижу их покойные лица, светлые взоры и улыбки; все они неспешно двигаются среди золотистых трав, чинно беседуют, плавно жестикулируют; удивительно что при густозаселённости не возникает никакого ощущения тесноты – фантастическое пространство трояковыпукло, не по-земному широко и удобно… Я ликую от восторга: вживе никогда не полагал, что это существует; а теперь вижу воочию эти сказочные просторы, которые невыразимо прекрасны. Ах, если бы знать заранее, если бы знать!.. И всё же при восторженном потрясении я без усилий привыкаю к райскому великолепию, будто здесь – изначальная прародина, истинное место предназначенного пребывания, исполненного сладкой вечности.

Да, я стремительно осваиваюсь, меня уже ничто не тревожит, не угнетает. Не ведаю, сколько времени миновало (да и существует ли оно?), –
только недавние третины с их беззащитной скорбью отошли вдаль, мне кажется, что не было никаких похорон и родственных плачей – мне так вольготно в бестелесности рядом с пресветлым Ангелом, среди белоснежных душ, которые благожелательно окружают меня, ободряют, осветляют неземными улыбками.

И как далеки мои скорбные третины, все погребальные сборы с их строгой суетностью, когда всякий знает свои обязанности, когда все сдержанны и деловиты, немногословны и неулыбчивы: смерть – это едва ли не главное отправление жизни. Как отдалённая данность, в памяти промелькнули совсем недавние похороны – плавно двигающаяся домовина, скорбная процессия за ней, причитания надо мной, покойным, стук молотков, спуск в могилу и напряжённое молчание родных, когда сумрачные могильщики споро закапывают…

Именно после этого Ангел и увлёк меня, потрясённого, уже полуземного, сюда, где по твёрдому наитию я ожидаю живительных воссоединений.

Боже, Боже, какая встреча! В светлом окружении узнаю матушку. Как она переменилась! Стройная, молодая, какой её помню с детства, и ни единой морщины, ни седины – истинная Анна Швейцарова в девичестве. Увидев меня, она, просветлев ликом, приближается.

– Милый мой мальчик! Я знаю, как ты страдал – Нюра поведала в молитвах своих… Теперь всё позади. Господь всеблагостив, Он не судит.

– Мама, мама, как ты здесь?

– У нас хорошо, сам видишь.

– А я не верил… Помнишь, как ты сокрушалась?

– Всё проходит. И ты в наших пределах, и теперь уверовал.

– Мне так хорошо, мама, как никогда не было. Что ж тогда земная жизнь?

– Она хороша как переход сюда. Но ты не ругай её, не надо. Всё по Божьему попущению. А Он всеблаг. Я это всегда знала благодаря маме, твоей бабушке.

– Она тоже здесь?

– Вместе со мной, и уже идёт сюда…

И в самом деле, я вижу: по розовой тропе, осенённой сладко пахнущими кустами, движутся две белые фигуры. Ещё издали я без труда узнаю бабушку, только молодую, не такую, когда она смертельно болела; но кто же рядом с ней? Боже мой, да это тётка Евдокия, её подруга детства, что жила через два дома от нас!

– Любимый внучек, Бог в помощь тебе! Я знала, что встретимся. Спасибо Богу за всё…

И мы уединяемся втроём, упиваясь беседой, сладким эфиром и немеркнущим светом, который исходит отовсюду какими-то ароматными волнами. И уже я не я, и никаких отголосков Cахарного Дола, никаких страданий, хмельных выпадений и долгой мучительной хворобы, затмевавшей дни. Как это далеко и чуждо! Вот здесь, бок о бок с самыми дорогими, – единственное настоящее, истинное.

А между тем мой Ангел-хранитель исчез, я это почувствовал не сразу. Но родные меня успокоили: он – на третьем небе, у престола Всевышнего, где сейчас апостолы, святые и ангелы. Он непременно вернётся, он поручен мне до Суда… А когда Он будет, никто не ведает. Даже если Господь в светлые часы посещает обитателей рая, беседует с ними как с равными, даже тогда о великом вселенском Суде Всевышний не упоминает, лишь пресветло наставляет: «Будьте в готовности». Это всеблагостное наставление только окрыляет, несказанно осветляет души, готовые держать заглавный ответ, ибо непрестанно молятся, ещё более смиряясь в покаянии.

Нам было хорошо втроём, при этом непонятным образом я ощущал родство со всеми, кто благоденствовал в райских пределах, и это наполняло несказанной радостью. Мама и бабушка разделяли эту радость, хотя потом (непонятно, через какое время) предупредили, что мне предстоят немалые испытания.

От живительной сути рая я ослеп. Не веровавший на земле, я с восторгом растворился в баснословной атмосфере всеобщего покоя и любви. Чудесно обретя самых родных, я благоговейно постигал восхитительные пространства лона Авраамова, ничуть не пресыщаясь дивным свечением, роскошным цветением и плодовым преизобилием. Мне начинало казаться, будто никакого времени нет: в раю блистал вечный День, и я с мамой и бабушкой без устали осваивал самые причудливые уголки, где серебряные воды разделялись на четыре потока и в тени золотолистых деревьев стояли стаи подводных существ самых невероятных расцветок. Было ясно: они любуются на нас точно так же, как мы на них – так осмысленны были их, как хотелось подумать, лица. Удивительная гармония всех обитателей рая потрясала меня, новопреставленного, с каждым мгновением (если можно упоминать о них) в моём обновлённом существе возрастал великий замысел Вседержителя, потрясающе приоткрывалась Его Истина существования.

И какой ущербной виделась моя земная жизнь с бестолковой суетой, с нелепыми потерями и конфликтами! И становилось больно за потерянные годы, за тщету надежд и упований. И во всей горькой справедливости вспоминалась сахарнодольская поговорка: «Каково житьё, таково на том свете вытьё». Я вступил во времена воздаяния и отмщения.

При этом мама и бабушка успокаивали меня, уверяя, что стези мои не столь губительны, поскольку родные молились обо мне во дни моей жизни, но ещё истовее после кончины.

– Не думай, что смерть – это окончательная казнь, – внушали они. –
Участь новопреставленных определена молитвами о них. Господа просят и живые, и отошедшие с земли. Знал бы ты, как умоляла Иисуса Христа Нюра и Мария Ивановна, да и твоя Ольга до сих пор несказанно сокрушается о тебе, ибо чувствует великий грех свой, и Господь слышит её.

И чуть ли не как доказательство сказанному я услышал далёкий, полуразличимый голос: «Помяни, Господи, душу усопшего раба твоего супруга Сергея и прости ему вся согрешения вольная и невольная, даруя ему Царствие и причастие вечных Твоих благих и Твоея бесконечныя и блаженныя жизни наслаждение…»

Господи, а я и не знал о вечной связи земного и небесного; откуда я мог знать, что и в раю жаждут вспомоществования самых близких, что и в вышних пределах столь целительны молитвы, исходящие из сердца.

Казалось, моё блаженство длится и длится, и конца его не предвидится – так мне этого хотелось! Только вновь появился мой Ангел-спаситель и ещё теснее осенил меня крылами своими. Я увидел в нём некую перемену: тихая скорбь изливалась из его бездонных глаз, и лик его опечалился.

Да и родные мои скорбно клонили головы, будто заранее сочувствовали мне. Ничего не зная о предстоящем, я недоумевал, хотя и чувствовал приближение чего-то важного и неотвратимого.

Наконец мать приобняла меня:

– Сыночек, готовься к испытаниям. Это судьбоносный жребий, через это и мы прошли. Ничего не опасайся – Господь всемилостив и справедлив. А мы станем молиться за тебя, дабы ты очистился и причастился райскому блаженству…

После этого Ангел повлёк меня.

3

Мы спускались недолго. Райский свет угасал и вместо него сгущалось нечто аспидное, пахнущее сернистым смрадом, так что при моей бестелесности становилось трудно дышать. Поневоле становилось жутко, тем более повсюду, сгущаясь, клубились тёмные тени.

– Начинаются воздушные мытарства, – тихо пояснил Ангел. – Будь готов к пристрастным вопрошаниям князя тьмы.

– Но ведь я прошёл это в первые часы после успения!

– Воздушные мытарства – это другое…

Мы спускались всё ниже. Даже моя бесплотность не спасала от удушия, в то время как обновлённый слух мой поневоле полнился душераздирающими криками и зубовным скрежетом. Господи, как хотелось вернуться в лоно Авраамово к маме и бабушке! А тёмные тени сгущались, наводя ужас. Я уже различал аспидных существ мрачного, устрашающего вида; там и сям во тьме загорались их плотоядные глаза.

– Вот гнилая душа!!! – появился из тьмы страшный мытарь, сам сгусток прогорклой тьмы с горящими глазами и перекошенным лицом. За его сутулой спиной слабо трепетали серые крылья, и это ещё больше настораживало.

– Ты виновен в в грязном винопитии и беспамятстве. Всё приобретённое ты злоупотреблял на похабное пьянство и ругательство. Наказания тебе не миновать!

– Не преувеличивай, – достойно возражал Ангел. – Не всё шло на разгул. А благоустроенная сахарнодольская школа? Или ты злонамеренно забыл о ней?

Да, в краткую бытность предпринимателем я действительно выделил средства на ремонт нашей полусгнившей школы, где учился мой сын. Деньги были невелики, но косметически помещения подновили.

– А молодеческий блуд?! – ввязался другой столь же мрачный вопрошатель. – Ты вспомни, как грязно соблазнил девицу Ольгу. Ты обрюхатил её!..

Обвиняя меня, адский служитель угрожающе наступал, теснил, намереваясь пронзить чем-то мерцающим, острым. Мне стало страшно – нет, это слабо сказано! – меня сковал никогда неиспытанный ужас!.. А наступление продолжалось: отовсюду чёрные тени с огненными глазами, размахивая выблескивающим оружием, приступали и приступали с обвинениями. И если бы не Ангел, я б не выдержал.

– А тайные укрывательства, чтобы пьянствовать с приятелями?!

– Это грех небольшой, ибо не было злого умысла…

Мытарь злобно вспыхнул, глаза его налились недобрым огнём:

– Ты ещё не скажи, что твой ничтожный подзащитный под стать тебе. Не забывай о его грязном сквернословии.

– Согрешивший в ведении биен будет много, но согрешивший в неведении биен будет мало, – был спокойный ответ.

Но мытарства только набирали ужасающую силу! Только тогда я сполна осознал расхожее земное: «адские муки». Да, я был подавлен, уничтожен вчистую и не выдержал:

– Я знаю свои прегрешения и не отрицаю их. Но я сокрушаюсь и раскаиваюсь в них, – слёзно возразил я вместо самооправдания. И мне вспомнились напутствия родных душ моих, их мягкое принуждение к покаянию, их упование на непрестанное молитвенное сопровождение.

И, словно услышав мои мысли, Ангел-спаситель благоговейно произнёс: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас».

И мы спустились ещё ниже, благо пристрастные вопрошания на время прекратились. Нашему взору открылось мучительное многолюдье. Правда, никаких кипящих котлов я не увидел. Наоборот, каждый обречённый аду был изолирован, всякий был наособицу страдальчески углублён в себя, всякий терзался недужной совестью: кто-то громко вопил и потрясал кулаками, кто-то мрачно молчал, скрипя зубами, кто-то обречённо горбился во враждебной тьме. Поражала душная теснота преисподней: куда ни глянь, всюду люди, люди, люди, и все в самых немыслимых проявлениях страдания, что бывает на земле при страшных стихийных бедствиях или во время войны. И всё это усугублялось тлетворным мраком, откуда-то снизу подсвеченным зыбко-красным, огненным.

Среди этих несчастных я внезапно узнал отца. Он долго и болезненно вглядывался в меня, видно, не узнавая. Да и как иначе? Ведь он бросил нас с матерью, когда мне было восемь. Именно детская память помогла мне узнать в этом измождённом человеке того молодцеватого, с шуткой наготове «первого парня на селе». Видно, та самая молодцеватость и погубила родителя: окружённый женской лаской, избалованный вниманием, он, как я знал, напропалую загулеванил, увлёкся вином, а потом, по слухам, пошёл по тюрьмам да там и сгинул…

– Сынок, – болезненно скривясь, позвал он. – Сынок, мне так тяжко, сил нет! Муки невыносимы и конца нет. Спаси меня!..

Чем я мог ему ответить? Чем помочь? Ведь и моя собственная участь висела на волоске. Кто знает, может, и я обречён на такие муки? Кто знает?

Ангел раскрыл мне глаза на происходящее в преисподней. Здесь всяк судит себя своей совестью, мытари умело провоцируют это судилище, намеренно сгущая греховность. Но окончательный приговор – за страждущей душой. Её смерть – это и есть окончательная смерть, её жизнь – окончательная жизнь в единении со Всевышним. До страшного Суда ещё далеко, у грешников не всё потеряно: глубинное раскаяние, одухотворённое молитвами живущих, позволяет надеяться. Но поддер­жка не только земная, праведники молениями своими тоже очищают; ад не безнадёжен – в этом милосердие Божие, извечно восславляемое святыми угодниками.

В свете этих наставлений наше нахождение во тьме не стало непреодолимым – напутствия мамы и бабушки сквозь бездны ободрили меня. А значит, и посмертная участь несчастного отца решится не без моего участия. Во всяком случае мне этого захотелось, и даже острее, чем собственного спасения, пока нерешённого. После райского причастия я ощутил безмерное расширение зрения: ни там, ни тем более здесь, в адском разъединении, не существует чужих оставленных душ; все мы, некогда жившие и ныне живущие, – Господнее всеединство. У Бога все живы – вот истина истин!.. Как поздно она мне открылась!..

И перемещаясь в прогорклых пределах, видя сломленных страдальцев – одиозных политиков, расхитителей-министров, алчных олигархов, развратителей всех мастей, убийц и прочих бедолаг, коих тьмы и тьмы, – думалось о нерешённости их судеб, об их небезнадёжности. Да и хозяева адских бездн, тёмными тучами сновавшие меж грешников, виделись не слишком уверенными: все они помнили о внезапном пришествии воскресшего Христа, свободно исхитившего миллионы обречённых. Как знать, не в следующий ли миг случится второе пришествие?

Эта тайная насторожённость мрачных мытарей чувствовалась в грубых вопрошаниях о моей путаной чёрно-белой житухе. Я растерянно оправдывался в былых несуразностях и нетрезвых выходках, но Ангел просветлённо перекрывал это моим неведением и непреднамерением. Выходило так, что, будучи в тосветье, я как бы заново, но не с чистого листа, переживал земное сорокалетие, за что-то стыдясь и много реже гордясь. Реакция судей так же колебалась от злорадного восторга до нежданной досады. При этом чувствовалась их возрастающая неприязнь, а то и ненависть к непреклонному Ангелу-хранителю: некогда они пребывали в едином сонме, но стали непримиримыми антиподами.

И ещё я увидел некую многослойность пространства. По мере возрастания остроты прегрешений и нераскаянности души помещались всё ниже и ниже в предогневые подвалы, где чувствовалась особая безнадёжность и отчаяние, там мучимые орали благим матом, проклиная всё и вся; однако выше и выше пребывали согрешившие по неведению и полуотмоленные, им виделись дальние зыби рая и белые сонмы праведников, отчего их немые стенания видоизменялись в упования и надежды. Эти души зачарованно взирали вверх, безотрывно наблюдали влекущие таинства лона Авраамова, в то время как обитатели райского сада ощущали неусыпное внимание и молились за страждущих.

Значит, непреодолимой границы меж верхом и низом не существовало! И это ясное свидетельство безмерной любви Божьей. И так захотелось, пусть и с трагическим запозданием, на пороге вечных мучений, –
да, вопреки всему! – так захотелось воспринять хотя бы частицу этой великой любви, о которой в земные дни почему-то не думалось. Но нет, даже в мрачной преисподней не меркла Господняя всеблагость, но властно призывала к покаянию, обещая неслыханные блага…

И всё же я чувствовал себя обречённым. Мне и верилось и не верилось в неопасный исход мытарств, и больше всего угнетала эта упорная вражда служителей тьмы, их сатанинская дотошность в отыскании земных промахов, а ещё лучше – преступлений. Они злонамеренно уличали меня во лжи, клевете, чревоугодии, лености, воровстве, сребролюбии, зависти, гордости, ярости, памятозлобии и прочее, прочее…

Я уже потерял счёт времени и, вконец измотанный, добровольно обрекал себя на вечные муки, но Ангел, мой Ангел-спаситель, убедил не только пристрастных мытарей, но и меня, грешного:

– В чём бы вы ни упрекали, что бы ни выискивали в злорадном раже, –
эта душа очищена в предсмертных страданиях. Мы вам её не отдадим!

Всё остальное – в руце Божьей.